

# КОНЕЦ СВЕТА С ПОСЛЕДУЮЩИМ СИМПОЗИУМОМ



В эти дни человечество отмечает две даты: одну — позорную для истории, другую — всеполюющую надежду на мирное будущее нашей планеты. Хиросима — сорок лет назад и Хельсинки — десять лет. К сожалению, трагедия Хиросимы не оказалась уроком для американских «ястребов», толкающих человечество к порогу Хиросимы всемирной. Прогрессивные силы всего мира активно противостоят антигуманной, человеконенавистической политике поджигателей новой войны.

Дух Хельсинки жив и сегодня, ибо он отвечает чаяниям народов, их стремлению жить в мире.

Мы публикуем отрывок из пьесы американского драматурга и рассказ об этой пьесе советского журналиста: читатель без труда поймет, сколь сильно в этой пьесе неприятие философии войны, которая опасна во всех проявлениях, со всех точек зрения. Полностью пьеса Артура Копита будет опубликована в сентябрьском номере журнала «Театр».

ний шеф этого ведомства Каспар Уайнбергер, и его одержимый антисоветизмом помощник Ричард Перл. Специалист по русским проблемам, «настоящий ястреб», Стенли Берент — карикатура на Збигнева Бжезинского.

Все это люди у ядерной кнопки и теоретики того, как правительство США должно его пользоваться. Впечатление от паноптикума, куда Артур Копит приводит зрителя, жутковатое. Под увеличительным стеклом сатиры прекрасно видно, что этими деятелями движет одно — стремление обеспечить себе преимущество для нанесения первого ядерного удара.

Генерал Уилмер: «В нашем деле есть одна простая, фундаментальная истина, и она управляет всем, что мы делаем: перен, который бьет первым, берет верх».

Трент: «Значит, нам нужно еще больше ядерного оружия, чтобы ударить первыми».

Генерал Уилмер: «В кризисной ситуации? Абсолютно верно».

«Артуру Копиту 48 лет. Но короткая стрижка, живые жесты придают его облику студенческую стремительность. Отец был коммюнистом, мечтал, чтобы сын стал ученым, инженером. А тот еще в университете ушел с головой в журналистику, редактировал студенческие листки и уже тогда начал писать одноактные драмы».

У первой пьесы, которая принесла Копиту известность в США, довольно эксцентричное название «О, папа, бедный папа, мама повила тебя в чулане, и мне так грустно». Драма получила несколько премий, в том числе пре-

стижную — имени Вернона Райса. В одной советской работе 60-х годов ее закрепили как «крайнюю степень разложения театрального искусства». Критик судил, видимо, все по тому же названию. На самом деле пьеса хотя и сложная, но проникнута человечностью, и не заметить этого нельзя. Автор предупреждает о разрушительной силе некоторых, как он их называет, «защитных инстинктов». Героиня пытается укрыть сына от окружающего мира, от жизни и, ограждая от боли, причиняет боль. Нельзя прожить жизнь без риска, без страданий...

Драматург перестал получать премии, когда вьетнамская война выжгла в его творчестве интерес к ущербным сторонам психики и подтолкнула к тому, чтобы оглядеться вокруг, почему, когда накопилась в этом обществе та ненависть к человеку, которая убивала во Вьетнаме? Так возникла идея пьесы «Индейцы».

«Мои «Индейцы» вышли из джунглей Вьетнама, — вспоминает рождение замысла Копит. — То, что делала Америка во Вьетнаме, было какой-то горячкой, в какую мы впадали и раньше. Я выступал против вьетнамской войны. Считаю, что даже в практическом смысле ее нельзя выиграть. Никто у нас тогда, по моему, не мог взглянуть правде в глаза. Мы разрушили страну, говоря, что хотим спасти ее. А индейцами то же самое. Нам поработу нужны были их земли, а они нам мешали».

Его, автора пьесы «Индейцы», интересовало, как создается мифология, оправдывающая позорную политику,

Именно так понял главную мысль драмы и знаменитый режиссер Роберт Олтман, который поставил по ней фильм «Буффало Билл и индейцы». Фильм, считает Копит, получился...

Его рука режет воздух нервными зигзагами. Прозрение, что пришло к нему с вьетнамской войной, не стало божьим даром на час... Несправедливость общества, бесчеловечность политики, которую высжиживают в вьетнамских кабинетах чиновники, — все это стало и его личным крестом, и его большой совестью. Каким вырастет в таких условиях новое поколение американцев? — тревожится мой собеседник. Что станет с его сыном, которому уже 12 лет?

«Отношения между нашими странами должны улучшиться — вот где выход, — возмущенно говорит Артур Копит. — Если мы не сблизимся, не встретимся, все это взорвется! И взорвется вначале в космосе! Задуманная нами милитаризация космоса пугает меня больше всего. Если туда будет заброшено оружие — хода назад нет. Сейчас мы еще можем медленно двинуться к разрядке, к сближению, к признанию, что Советский Союз и США отличаются друг от друга, но устранить это различие нельзя — надо жить вместе. Итого: надо вести на полях идеологии, а не в космосе».

Драматург рассуждал, а на экране корпунктовского телевизора весело прыгали красочные картинки. В космическую бездну отправлялся американский корабль «Дискавери». Здоровки в скафандрах загадочно улыба-

лись. Звук был выключен, и репортер жестикулировал, как переводчик на языке немых. По-видимому, растолковывал, какая это важная миссия. Еще бы, впервые полет целиком посвящен военным задачам.

Копит смотрел на экран с той же смесью изумления и отвращения, с какой герой «Конца света» смотрит на абсурдные гравюры Эшера. Потом астал, подошел к окну. — Если мы разрешим ученым создать новое поколение оружия — лазерные лучи с Луны, ядерные бомбы из космоса, это будет совершеннo новый уровень опасности. К такому мы на земле еще не подступили, — сказал он, не оборачиваясь. — Что пугает меня в Рейгане? То, что сейчас он начинает действительно очень опасную игру. Боюсь, он верит в возможность затянуть нас в гонку вооружений, обогнать, достичь превосходства. Боюсь, он не хочет останавливать эту гонку. А ее надо прекратить — иначе она уничтожит всех!».

«Небоскребы уже различают Нью-Йоркское небо пунктирами светящихся окон. Багряные сполохи на Гудзоне погасили, и река стала черным зеркалом, где отразился окутанный светящимся туманом, проселенный фабричными дымами штат Нью-Джерси. Над его призрачным раздольем, над едва угадываемыми переплетениями автострады порхали осенними светлячками огни вертолетов».

И хотелось повторить за копитовским героем: — Красивая у вас земля! Займитесь ею...

Владимир СИМОНОВ, соб. корр. АПН и «Л» НЬЮ-ЙОРК

ТЕАТР «Мюзик Бокс» стоит на бойком месте — 46-й улице нью-йоркского Манхэттена. Здесь, на Бродвее, все и случилось. Театральный сезон 1984 года завершался, продюсеры подчитывали свои доходы, зрители таяли на старье, добротные мюзиклы и привезенный из Лондона спектакль «Возди». В большинстве залов актеры уныло разглядывали со сцены ряды пустых кресел, когда грохнула, заставила говорить о себе, разбудила всех и вся, новая премьера.

Событие и вправду было удивительно. На Бродвее давали пьесу... про ядерную бомбу. Известный драматург Артур Копит вынес на суд людской свою новую работу

«Конец света с последующим симпозиумом». Программка назвалась списком модных «звезд». Режиссер — Гарольд Принс, тот, что поставил шумевшие мюзиклы «Эвита» и «Скрипач на крыше», лауреат пятнадцати премий «Тони». В одной из главных ролей — Линда Хант, та, что получила в 1984 году «Оскар» за свой актерский триумф в фильме «Год опасной жизни».

И вот я в зале театра «Мюзик Бокс». Когда занавес упал в последний раз, снова заглянул в программку. Неужели в пьесе в самом деле полнометровых три акта? А ощущение как от мощной вспышки импульсной лампы: потрясение и расплывающиеся радужные круги первых впечатлений, и ясно только одно: пьеса задела большой нерв Америки. Автор сказал многое из того, что нужно было, преступно было бы не сказать в нынешние дни, когда страну охватил милитаристский угар.

В «Мюзик Бокс» люди три часа дышали кислородом здравого смысла. И понимали это. В антракте у бара маячили две-три фигуры. Зато в фойе былолюдно и шумно.

Самое удивительное, что споры шли не столько о пьесе, постановке, игре актеров — спорили о политике, в которую запрягли страну люди Рейгана.

Назавтра звоню администратору «Мюзик Бокс» и узнаю, что пьесу уже сняли. — Как сняли? Когда? Вчера же шла... Почему? — Нет зрителей. — Что вы говорите! Зал был полон. У подвезда, сам видел, толпа не расходится.

Администратор долго молчал. Потом нехотя, путано стала объяснять, что надо, мол, смотреть на два-три месяца вперед. А тогда, наверно, интерес погаснет, и театр, вероятно, прогорит... И так, зал «Мюзик Бокс» вдруг опечтался, будто комнатою дремально дежурят за кулисами театральное Бродвее с чеховой книжкой в одной руке и наезным замком в другой, сразу встали на дыбы, как только им стала ясно резко антиядерная, открыто антирейгановская направленность пьесы Копита.

Самое интересное для меня было другое. Не сознавая того, мы разыграли

е администратором эпизод из... вчерашнего спектакля. Ведь сюжет «Конца света» как раз об этом.

Некий человек с деньгами по имени Филип Стоун хочет поставить антиононную пьесу, а старожил театрального Бродвее, литературный агент Одри Вуд, предупреждает: «Нужно быть готовым к тому, что ее быстро прикроют». Так оно и случилось.

Причина подобных действий цензуры в том, что автор позволил себе мысли вслух о немислимом, но в то же время о самом тревожном и насущном — об угрозе ядерного конфликта.

У «Конца света» не только необычный сюжет, но и оригинальная форма. Это пьеса в пьесе. Уже знакомый нам Филип Стоун заказывает молодому драматургу Майклу Тренту антиядерную драму, чтобы предупредить человечество о последней и потому страшной опасности. Три действия, которые проходят перед нами на сцене, — это творческий процесс создания такой пьесы.

Перед зрителем — галерея образов, списанных автором с натуры. В генерале Уилмере, большой шишке из Пентагона, угадываются и нынеш-

Артур КОПИТ:

## „КРАСИВАЯ У ВАС ЗЕМЛЯ!

# ЗАЙМИТЕСЬ ЕЮ..“

Стоун. Пожалуй, выпью чай. (Направляется к подносу с чаем. Напевает. Размещивает, разглядывает содержимое.) Вам приходилось бывать в южной части Тихого океана? Трент (озадачен). Нет.

Стоун. Восхитительные места, небообразной красоты! Такая красота неподвластна воображению. Ну так вот, мне довелось побывать там в годы войны, что не доставило никакого удовольствия, и... потом еще раз в пятидесятых. У меня был близкий друг, физик из Станфорда, он занимался ядерной физикой. Словом, он был одним из тех, кто проводил наши испытания, наши ядерные испытания, и как-то спросил меня, не хочу ли я отправиться с ним на судне, ну, знаете, таком наблюдательном судне. В моем присутствии там не было бы ничего неуместного, поскольку среди моих широких финансовых интересов — лаборатория и исследовательский центр. Это в Калифорнии.

Трент. Вы делаете оружие.

Стоун. Веду исследовательские работы и конструирую оружие. Да, сэр, это одно из многих дел, которыми я занимаюсь. Не самое главное мое увлечение в этом мире, но одно из них. Я изучал химию и физику в Чикагском университете, всегда интересовался точными науками, отсюда научный склад моей любознательности. Я слежу за прогрессом. Как бы то ни было, мы оказались там, близ острова, известного под названием — что довольно любопытно — остров Рождества. Итак, мы были на этом судне, на этом военном судне не очень далеко, но на достаточно безопасном расстоянии от места, где должен был произойти взрыв. (Пауза.) Ожидала его, я заметил, что вокруг корабля кружились много птиц. Они летели вместе с нами много дней, как бы сопровождали нас к месту испытаний. Там были по-настоящему превосходные экземпляры... Действительно весьма редкие... Воистину феноменальные создания — альбатросы... (Пауза.)

Итак, мы стояли на палубе и ждали, когда взорвется бомба. Нам сказали, она будет очень маленькой, поэтому никто особенно не беспокоился. Хотя раньше я и не видел подобных взрывов, я решил, что эти люди должны, что ли, знать, чем они занимаются... Подумалось: они намерения представляют себе всю опасность. К тому же всех нас довольно тщательно проинструктировали. У всех были светящиеся радиации. Нас одели в особые костюмы. Что-то вроде свинцовых. В соответствующий момент нужно было опустить затемненные щитки, такие светозащитные, забрала. (Пауза.) Вообще говоря, я испытывал нечто вроде досады, поскольку мне не удалось наблюдать взрыв какой-то бомбы-пробки. Она была в десять килограмм, меньше тех, что сбрасывали на Хиросиму. Такого рода бомбы классифицируют как тактическое оружие. Это оружие можно использовать прямо на поле боя. Честно говоря, я был разочарован. Хотелось увидеть, что-то более запоминающееся! И мне даже не стыдно в этом признаться. Ядерное оружие, понимаете, обладает своего рода притягательным очарованием. Я испытывал это сам и знал, что то же испытывают и другие. Когда подходишь к этому с точки зрения ученого, нельзя отрешиться от мысли, что вот здесь, так сказать, в твоих руках эта возможность освободить энергию, которая рождает взрывы... Возможность заставить ее выполнить твою волю... Заставить творить чудеса, поднять в небо миллионы тонн снад, и добыть всю эту силу из вещества размером с наперсток. Непредостынный базис!.. Что ни говори, я был, конечно, разочарован. Мой первый личный опыт должен был ограничиться чем-то малым, далеко не масштабным. Итак, мы стояли у борта. Начался отчет времени. Мы слышали его по громкоговорителю. И приблизительно

знали, где и на какой высоте будет взрыв. (Пауза.) Потом внезапно я увидел всех этих птиц, я увидел птиц, которых наблюдал до того на протяжении многих дней. Теперь их вдруг можно было рассмотреть во всех деталях через затемненный щиток моего шлема. И они дымнились. Их оперение пылало. И они кувыркались колесом. И свечение продолжалось еще некоторое время. Это была мгновенная яркая вспышка, но она была не такой уж мгновенной, потому что не угасала, слегка меняя цветовой оттенок. Это продолжалось несколько секунд. Да, кажется, так, во всяком случае, достаточно для того, чтобы увидеть, как птицы падали в воду.

(Восел Алекс, сын Трента, и остановился в стороне, слушает, но не совсем понимает, о чем идет речь.)

Они шипели, будто жарились на сковороде. Дымились. Они не испарялись — просто впитывали в себя столь интенсивную радиацию, что жар будто поглощали их. Их перья поплыли. Они ослепли. И пока еще не было никакого сотрясения, никаких разрушений от ударной волны, о чем мы обычно говорим, когда обсуждаем последствия таких взрывов. Вместо всего этого были лишь те дымящиеся, бьющиеся в судорогах, чудовищно изуродованные птицы, что камнем падали вниз. И я мог различить пар над внутренней лагуной, там, где мощная вспышка вскипятила поверхность воды. (Пауза.) Да, в жизни не видел ничего подобного... И я подумал, вот как все будет выглядеть, когда придет конец всему. (Пауза.) Мы все были... потрясены этой мыслью. (Трент в ужасе смотрит на Стоуна.) Это ваш сын, я полагаю? (Трент с ужасом поворачивается к сыну, тот выглядит испуганным.) Я никогда не встречался с парнишкой, хотя слышал, как вы говорили о нем несколько лет назад. Должно быть, ему сейчас... одиннадцать. (Трент поворачивается к Стоуну. Потрясен последней ремаркой Стоуна.)

Стоун (к мальчику). Я встретил твоего отца вскоре после того, как ты родился.

(Теперь Трент бьет испуганно дрожь. Он переводит взгляд с сына на Стоуна и обратно.)

Алекс. Это кино, вы смотрели такое кино?

Стоун. Только что? То, что я рассказывал? (Мальчик кивает.) Да, кино.

(Мальчик кивает и уходит. Трент смотрит в зрительный зал. Они постепенно заснут, освещен лишь Трент.)

Стоун. Пожалуй, выпью чай.

(Идет к кувшину, наливает стакан. Сидит и потягивает чай со льдом. Трент в луче прожектора выходит на авансцену. Вся сцена почти в полной темноте.)

Трент (к зрителям). Теперь понимаю, что он имел в виду... Помню, как я рассказывал кому-то... в комнате, в гостиной, у кого-то дома, мы тогда жили в городе, у кого же дома? Не имеет значения, а, да! Нет, не имеет значения. И, конечно же, там был Стоун. И слышал...

(Пауза.)

Мой сын только что родился. Мы привезли его домой. Ему было... сколько? Пять дней, кажется.

(Пауза.)

И вот однажды жена ушла... и я остался с ним вдвоем. Думаю, я был очень взволнован этим. Да. Потому что впервые оказался с ним наедине. И я взял его на руки, этот крохотный комочек, и начал ходить по нашей постели. Мы жили высоко, где-то на верхнем этаже. Окна выходили на реку, на Гудзон, свет так и струился в комнату, был чудесный, звонкий осенний день, прохладный, просто великолепный. И я... посмотрел на это существо, на этот маленький комочек, и понял...

(Пауза.)

Повал, что никто никогда не был раньше полностью в моей власти. (Пауза.) И я понял, что он совершенно невинен. И он посмотрел на меня. И что бы он ни увидел, ни различил в тот миг, он увидел это глазами невинности. И он был в моей власти, и я никогда раньше не знал, что это значит, никогда не испытывал ничего, хотя бы отдаленно напоминающего это чувство. И я увидел, что стою у окна. И оно было открыто. И всего в нескольких футах от меня. И я подумал, ведь я могу уронить его за окно. Как просто уронить его. И я приблизился к окну, потому что не поверил, что такая мысль пришла мне в голову, откуда она только взялась, ни одна частица моего существа не чувствовала к этому мальчику ничего, кроме любви, и одна, мы с женой хотели ребенка, мы любили друг друга, во мне не было ничего затаенного, никакого зла, никаких черных мыслей по отношению к нему. Никто никогда не мог бы любить свое дитя больше, чем я, так же, как я — да, но не больше, не больше. Я думал, что могу выбросить его из окна и потом он будет падать десять, двенадцать, пятнадцать, двадцать этажей вниз, и когда он будет падать, я уже не смогу вернуть его назад и стану терзаться раскаянием... Бесконечным раскаянием... И ничем никогда не искуплю этого, навсегда останусь без права на прощение, и если есть господь, то тогда этим поступком я навсегда проклял себя. И меня охватило странное волнение, я ощущал трепет, он был тут, во мне. Я ощущал трепет при мысли о деянии совершенно безрассудном, о том, что отпустил бы меня вечным проклятием! Господь осудит меня за это, сказал я. И, конечно, я устоял. И отошел от окна. Это было нетрудно. Сопротивляться не представляло труда. Но я не остался у окна. И я закрыл его!

Я оказал сопротивление, удалившись прочь, в глубь комнаты. Я сел, держа его на руках.

(Пауза.)

Не думаю, что я мог бы сделать это, ни малейшей вероятности нет, ни малейшей.

(Пауза.)



Рисунок Ю. МИХАЙЛОВА

Но я не мог рисковать, в этом был... Очень, очень большой соблазн.

(Пауза.)

И я должен был сопротивляться действию.

(Пауза.)

Нельзя сказать, что ничего такого не было. Что-то было... И это что-то овладело мной... И понадобилось усилие, чтобы устоять, небольшое, но ощутимое усилие, чтобы устоять.

(Молчание. Оглядывается Стоун. Освещение становится несколько ярче. Стоун все еще льет чай.)

Если конец света придет... Он придет вот так.

Стоун (между прочим). Думаю так.

(Льет чай. Пауза.)

Трент. Вам хочется, чтобы он наступил, не так ли?

Стоун. Что именно?

Трент. Конец света. Хотели бы увидеть, как он наступит?

Стоун. Нет-нет, конечно, нет, это нелепо! (Потягивает чай.) Просто я знаю: если он наступит, это не было бы напрочь лишено интереса. То есть в этом есть нечто притягательное, вот все, что я имею в виду. Мысль об этом возбуждает мое любопытство. Но и многое другое вызывает у меня любопытство. Не стоит придавать этому большого значения. Это действительно чудесный чай со льдом, передайте мое восхищение вашей жене, думаю, секрет в свежей мяте, ничто не может заменить свежую мяту, если вы не возражаете, я сорву немного в вашем саду по пути домой. Когда закончите?

Трент. Я не могу написать эту пьесу! В самом деле, я не знаю, как, правда, это выше моих сил. Разве вы не видите, я не способен на это!

(Стоун идет к окну в глубине комнаты, любуется видом.)

Стоун. Красивая у вас земля. (Бросает взгляд на свои часы. Затем смотрит на Трента и улыбается.) Займитесь ею.

(Он уходит. Через окно в глубине комнаты видно, как далеко Эйн вводит Алекса за руку через поле.)

Трент смотрит на них, забываясь в думках. Все погружается в темноту за исключением Трента и вида из окна.

Занавес.

Перевели с английского Е. СИМОНОВА и В. СИМОНОВ